**КЛИЧ И КЛЮЧ**

*Окончание. Начало в № 1, 2022*

**\* \* \***

…Было это – в семидесятых. Я приехал к Володе Яковлеву. Он показывал мне свои удивительные работы. А потом посмотрел на меня, очень пристально, словно видел всё на свете внутренним зрением, и сказал мне внезапно:

– Володя! Ты, наверное, хочешь есть.

Я не стал ничему удивляться. И ответил ему:

– Да, хочу.

Был я голоден. В годы бездомиц я не ел порой по два дня. Денег не было вовсе. Жилья, своего, никакого не было. Ничего из того, что в жизни человеку необходимо, ничегошеньки, – вовсе не было. Разумеется, я держался. Виду часто не подавал, что устал, что голоден, даже у знакомых своих в гостях. И усилий немалых стоило мне тогда не сдаваться, держаться. Надо выстоять, я твердил про себя. И, как мог, старался продержаться ещё, и ещё, хоть немного, потом подольше, так и длилось всё это, и я понимал, что нужно мне пристанище, где бы мог я собраться с силами, успокоиться, отдохнуть. Но была полоса такая, что пристанище не находилось. И поэтому я продолжал, вопреки невзгодам, держаться.

Говорить о том, что, мол, всё хорошо у меня, распрекрасно, мог любому я из друзей и знакомых. Но только не Яковлеву. Всё он лучше других понимал. Всё он видел, полуслепой, но иным одарённый зрением, небывалым, особым, – насквозь.

И сказал мне Володя:

– Пойдём. Я тебя накормлю. Я знаю, ты поверь мне, одну столовую. Кормят там и вкусно, и дёшево.

Собрались мы – и вышли, вдвоём, из квартиры. Потом – на автобусе мы куда-то, недолго, ехали. И зашли в известную Яковлеву, на каких-то задворках, столовую.

Там Володя заказывать стал – на двоих, да побольше, еду. По два супа. И по два вторых (две котлеты с гарниром картофельным – вот второе блюдо, и стало по четыре котлеты на каждого плюс картофельные гарниры). По два сока томатных, на каждого. И капустных по два салата. И солидную горку хлеба. И на каждого – по два компота.

Дотащили мы всю еду, на подносах, до столика. Сели в уголке за столик. И – съели всё, что Яковлев заказал.

– Ты наелся? – спросил Володя.

Я ответил:

– Наелся, конечно. И тебе – спасибо огромное. Накормил ты по-царски меня.

И сказал мне Яковлев:

– Брось! Накормил я тебя – по-своему. Потому что в этой столовой иногда отъедаюсь я. Ну, когда выхожу из психушек. Там ведь плохо кормят. И я отъедаюсь здесь. Понимаешь?

Я сказал:

– Понимаю, Володя!

– Хорошо, что ты – понимаешь. А другие – не понимают. Вечно прячут меня в психушки. Будто что-нибудь я натворил. Правда, там я рисую, помногу. Но врачи картинки мои почему-то быстро растаскивают. А потом – помещают в свои, о болезнях, учёные книги. А какой я больной? Я – здоров. Просто – жизнь у меня сложилась, непонятно мне – почему, не такой, как у прочих людей. Вот, со зрением плоховато. Даже скверно совсем. И всё же вижу я – не так, как другие, вижу – то, что за каждым предметом, словно тень его, молча стоит, только это не тень, а суть. – Тут Володя громко вздохнул, погрустнел и спросил: – Понимаешь?

Я ответил:

– Да, понимаю.

– Слушай, шумно здесь очень. Посудой непрерывно гремят. Давай-ка поскорее отсюда уйдём.

И сказал я Володе:

– Пойдём.

Вышли мы, из паров кулинарных этой шумной, дешёвой столовой, где наелись мы до отвала, на сомнительно свежий воздух.

Подышали. Потом закурили. Шли вдвоём по асфальту, к метро.

– Если я буду снова в психушке, ты меня навестишь? – спросил, морща лоб свой высокий, Володя.

Я сказал ему:

– Навещу.

– Ты куда сейчас?

– Я не знаю. Ну а ты?

– Ну а я – домой. Там – такая же точно психушка, даже хуже. А я –
терплю.

– Понимаю тебя.

– Ну, пока. До свидания.

– До свидания.

Мы пожали друг другу руки. Повернул Володя – к автобусной остановке. Шёл, черноглазый, в куртке слишком широкой, маленький, словно странный цветок в столичной, хаотичной, густой кутерьме. Шёл – и листья, с деревьев слетающие, устремлялись за ним, и кружились за фигуркой его полудетской шелестящим, багровым шлейфом, словно так вот, совсем по-осеннему, провожая его в сияние возрастающее листопада, ну а может, и прямо к звёздам, – всё могло на пути случиться, всё могло ведь в итоге – быть…

**\* \* \***

…Однажды зимой, в январе, встал Игорь Ворошилов на постой, временно, ненадолго, у одной своей знакомой.

Начал там рисовать – и увлёкся. Время для него сместилось. Где ночь, где день, он уже не разбирал. Словно в другом измерении находился. Только и делал, что работал. Ни о каких там амурах и речи быть не могло. Просто – в очередной раз дорвался художник до возможности, до смешного простой, – в домашних условиях, у хорошей знакомой, любящей искусство, поработать. Вот он и потрудился на славу.

Я приехал к нему в Медведково – и ахнул. Куда ни повернёшься, куда ни шагнёшь – везде были Игоревы работы. Да какие! Нередко – шедевры. Живопись, в основном.

Работы грудами лежали на полу, под ногами, свалены были возле стен, кое-какие – прикреплены кнопками на стенах, валялись в прихожей, на кухне, заполняли всё жилое помещение этой однокомнатной квартиры.

Посреди них, босиком, расхаживал довольный Ворошилов.

Он показывал мне свои создания – вот ведь какая счастливая случайность: хотел здесь просто переночевать да, возможно, немножко порисовать, да вдруг как пошло, и остановиться уже невозможно было, и он двигался вперёд, рисовал и рисовал, благо хозяйка подсобила и с красками, и с бумагой, и ничего искать не надо было, всё оказалось под рукой, и никуда уходить не надо было, в ночь, на холод, а можно было сидеть себе здесь, в тепле, и вкалывать, – и вот он, результат.

Ворошилов делал широкий жест рукой – и указывал на то, что он здесь наработал.

Увиденное не просто впечатляло. Скорее, оно изумляло. Озадачивало. Потрясало.

Это какая же творческая энергия должна быть у человека, чтобы единым духом, без всяких перерывов, за несколько дней, столько всего понамалевать!

Картинок хватило бы на несколько больших персональных выставок.

Ворошилов расхаживал среди них, как пастырь среди своего стада. Но напоминал ещё и доброго волшебника, столько чудес нежданно сотворившего, – только вместо волшебной палочки была в его руках просто кисть. Впрочем, наверняка – волшебная, сомнений в этом быть не могло.

Ворошилов выразил желание купить пива.

У меня было несколько рублей. Мы отыскали две пустых трёхлитровых банки, закрыли их пластмассовыми крышечками. Сунули наши банки в авоськи. Вот теперь можно было и отправляться на поиски пива.

Мы накинули свои пальто – и вышли на улицу.

И тут-то я подумал: ну зачем нам нужно это пиво – сейчас, зимой? Но было уже поздно. Коли решили идти за пивом – его следовало ещё и найти. Не так-то просто было сделать это в прежние годы.

На улице стоял мороз. Да ещё какой! Лютый, и только. Январский. Градусов двадцать пять, наверное.

Вся округа, всё Медведково, казавшееся нам тогда глухоманью, дальней, совершенно неизведанной московской окраиной, было завалено снегом. По обе стороны от расчищенных без устали работающими дворниками дорожек на тротуарах возвышались монументальные сугробы. Но снег продолжал сыпаться сверху крупными хлопьями. И на тротуарах ноги вскоре увязали в нём по щиколотку, а потом и почти по колено.

Где искать пиво в этом занесённом снегами Медведкове?

Мы с Ворошиловым шли и шли, наобум, наугад. Передвигались от квартала к кварталу. Расспрашивали прохожих – где здесь пивные ларьки. Подходили – и очередной ларёк оказывался закрытым. Приходилось топать дальше.

Мы уже совсем устали и замёрзли, когда увидели, наконец, впереди открытый пивной ларёк.

Само собой, стояла к нему немалая очередь. Посреди густого снегопада, облепленные снегом, люди напоминали оживших снеговиков.

Каким-то образом удалось нам проникнуть поближе к раздаче пива. Кажется, Ворошилов проникновенно обратился к какому-то парню, доброму на вид, и тот пропустил нас без очереди.

Мы налили в наши трёхлитровые банки столько пива, сколько в них поместилось.

Взяли себе по кружке – и отошли в сторонку, за ларёк, чтобы не спеша выпить пивка.

Загадкой оставалось – как мы его, ледяное, сумеем выпить на улице, на таком морозе?

Но об этом старались мы не думать.

Сейчас важно было – совершить ритуал. Этак своеобразно отметиться у незнакомого ларька, выпив по кружке мутного пива.

Мы встали за ларьком. Пригубили пива.

И вдруг... Вдруг нам перехотелось пить.

Мы увидели – жуткую картину.

За пивным ларьком высился здоровенный сугроб.

Прямо в этом сугробе, на снегу, сидел пожилой мужик. Горло его было обмотано бинтами. Из-под этих грязных бинтов, прямо из горла, изнутри, торчала какая-то трубка.

Мужик молчал. Но время от времени издавал, изнутри, сквозь эту торчащую наружу трубку, какие-то звуки – всхлипывания, всплески, бульканье, хрипы, шипение.

Мужик, сидя в одиночестве, чего-то с нетерпением ждал.

И вскоре к нему подошло ещё двое мужиков. У них в руках были кружки с пивом. Они поставили свои кружки на снег.

Один из них достал из-за пазухи бутылку водки. Быстро открыл зубами пробку. Достал из кармана пустой стакан. Привычно налил в стакан нужную порцию – такую, какую всегда наливали, распивая на троих.

Потом, с водкой, налитой в стакан, этот мужик подошёл к сидевшему в сугробе пожилому мужику.

Тот сделал нетерпеливый жест рукой – ну, давай, мол, давай, скорее!

Мужик со стаканом поднёс этот стакан прямо к трубке, торчащей из-под бинтов, изнутри, у сидевшего в сугробе пожилого мужика, – и стал аккуратно переливать водку из стакана прямо в трубку.

Мы с Ворошиловым с ужасом смотрели на это занятие.

Наконец вся водка из стакана была перелита в трубку.

Мужик с забинтованным горлом побагровел, слегка оживился. Опохмелился, стало быть. Надо полагать, водка попала прямо в желудок. Горла, скорее всего, у него не было. Наверное, было оно вырезано. Посему приятель-алкоголик и лил ему, алкоголику, водку прямо в желудок.

Мужик с забинтованным горлом говорить ничего не мог. Он только благодарно хрюкал.

Его приятели в момент опорожнили, по очереди, стакан с водкой. Тоже оживились. Закурили. Присоединились к приятелю. То есть уселись рядышком с ним в сугроб. Всем троим стало им хорошо. Все опохмелились. Все возвращались к жизни. Теперь они сидели в сугробе и прихлёбывали из кружек своё пиво. И даже пива немного умудрились налить в трубку мужику с забинтованным горлом.

Какой жуткий символ! Словно сама эпоха, с вырезанным, забинтованным горлом, уже без голоса, без речи, но жаждущая алкоголя, а с ним и некоторого забытья, сидела в сугробе, на московской окраине, посреди снегопада, в пору средьзимья, – вот здесь, перед нами!..

Через силу выпили мы с Ворошиловым пиво – и даже не пошли, а побежали по снегу, поскорее, поскорее, в тепло, в квартиру, где можно будет, до прихода хозяйки, посидеть на кухне вдвоём, покалякать, – ну а потом собираться и уходить, мне – домой, Ворошилову – куда-то, а куда – он ещё не решил, да и не всё ли равно было, куда идти теперь? На дворе зима, и холодно, и мороз вон какой сильный. Одно утешение –
что хорошо поработал.

Было самое начало года – и впереди ждало неизвестно что, и зачем загадывать, когда, быть может, всё сложится как-то само собою, достаточно хорошо, для того, чтобы жить и работать.

Снег шёл и шёл, и мороз всё крепнул, и сплошная белизна вставала перед глазами, заполняя видимый мир, а с ним и то будущее, которое ждало нас где-то там, за снегами, за холодом, далеко, далеко, впереди...

…А однажды Ворошилову так надо было похмелиться, что куда угодно пойдёшь, лишь бы только добыть спиртное, или денег достать немного, и купить магазинное пойло, заглотнуть его и спастись, – вот он и пошёл к Кабакову, а где мастерская – забыл, помнил только, что на чердаке всем известного, несуразного, не вполне московского с виду, чужестранцем стоящего дома на Сретенском бульваре.

Ничтоже сумняшеся, забрался он из мрачноватого внутреннего двора по наружной пожарной лестнице на крышу, нетрезвый ещё, и пошёл искать Кабакова.

А на этой крыше лет семьдесят жили полчища котов и кошек, никогда не спускавшихся на землю, и очень они мешали Игорю в его хождении по опасным высотам, но Игорь старался по возможности меньше внимания на них обращать, а сконцентрироваться только на одном-единственном: поисках каких-нибудь примет кабаковской
мастерской, где, он твёрдо верил, застанет он Илью, который его, конечно же, выручит.

И он нашёл-таки Кабакова, увидел его в окне, тот принимал иностранцев, кажется – чехов.

Игорь постучал в оконное стекло и очень вежливо сказал:

– Илья, займи, пожалуйста, рубль!

Гости кабаковские обомлели, ибо сверху, с неба, нависала над ними громадная фигура неведомого им, весьма колоритного человека, выразительно показывавшего палец: всего один рубль нужен!

А Кабаков тоже изумился, но рубля почему-то не дал, хотя мог бы вполне, за такое-то ворошиловское геройство – найти его, пройдя по крыше высоченного и многокорпусного, дореволюционного ещё дома, постоянно рискуя поскользнуться и свалиться вниз, да ещё и среди мечущихся вокруг, путающихся под ногами и орущих на разные голоса высотных котов и кошек, – и что им двигало – непонятно, поскольку, выдав рубль отважному художнику, он вовсе не обеднел бы.

И пришлось Ворошилову, несолоно хлебавши, без рубля, о котором он так наивно мечтал, обратно идти по крыше, слезать вниз по узкой, ржавой лестнице, – и всё это, не забывай, было с похмелья, и подвиг его по добыче заветного рубля в одночасье был поскупившимся на доброе деяние Кабаковым принижен, и это его огорчило безмерно, да всё же сумел он преодолеть эту горечь, стерпел, проглотил обиду, сжал зубы, сумел собраться с силами, чтобы с высоты почти поднебесной, надкабаковской, спуститься на землю московскую.

И слез он по лестнице, и оказался в глухом, с четырёх сторон закрытом высоченными корпусами, пустом дворе.

И ощутил он тогда в душе даже не грусть, а горечь.

И тогда, ведомый чутьём, перешёл он дорогу, и теперь уже не поднялся, а спустился вниз, в подвал, в мастерскую к Эрнсту Неизвестному, и обратился к известному скульптору со своим наболевшим вопросом об одном-единственном, необходимейшем для опохмелки, рубле.

И тот, совсем другой человек, нежели Кабаков, сразу всё понял.

И в ужас пришёл, когда Ворошилов поведал ему о недавнем своём подвиге с походом по крыше среди кошачьих стай и поисками окна в мастерской кабаковской.

И выдал Эрнст Ворошилову не просто рубль.

Нет, он, мужик бывалый, сам хорошо знающий, каковы некоторые состояния и как в них бывает порою тошно хорошему человеку, и особенно художнику, поскольку сам он был, как известно, человеком пьющим, нередко и крепко пьющим, что удивительным образом не отражалось никогда на его фантастической работоспособности, – он, Эрнст, человек широкий, до глубины души поражённый и ворошиловским видом, и кратким его рассказом о тщетных поисках столь важного для поправления здоровья одного-единственного рубля, дал Ворошилову денег, искренне, от души, по-дружески присоветовав не экономить на себе самом, а опохмелиться по-человечески, по всем правилам, так, как он обычно это делает.

Но прежде всего Эрнст сделал самое важное: он здесь же, на месте, в своей подвальной мастерской, налил, щедро, без всяких лишних движений, бражки собственного изготовления, благо бражка сия, в немалом количестве, в нескольких десятилитровых бутылях, мутноватая, да зато крепкая, надёжная, с плавающими за стеклом размякшими апельсиновыми и мандариновыми корками, постоянно была под рукой,
на всякий случай, и сейчас вот очень даже пригодилась, для того, чтобы выручить Ворошилова, которого Эрнст очень ценил как художника и который был ему всегда симпатичен, и по-человечески, и как земляк, тоже, как и сам он, с Урала, – да, щедрым, точным, привычным жестом налил Эрнст смущённому и разволновавшемуся Игорю один стакан бражки, потом другой, а потом и третий, чтобы наш герой прямо при нём похмелился, поправил, хоть немного, для начала, здоровье, успокоился, отдышался, – да и сам с ним выпил, – и только потом уже, позже, когда оба они и выпили, и символически закусили, и успели поговорить, и взвинченность ворошиловская прошла, схлынула, а на смену ей пришло спокойствие духа, лично, воочию убедившись в том, что он спас Ворошилова, Эрнст разрешил ему покинуть свою мастерскую и благословил на дальнейшее выздоровление.

Показательно, не правда ли?

Об этом случае позже Ворошилов рассказывал мне с изумлением – ну что его понесло тогда на крышу? и что за наивное желание – обрести заветный рубль – завладело им тогда? – и что за надежда, тоже наивная, на кабаковское понимание ситуации, возникла в его душе? – сам он толком не понимал, почему это происходило.

Но зато об Эрнсте Неизвестном – и его понимании ворошиловского состояния, и его мужской солидарности с ним, и его человечности –
говорил Ворошилов не единожды с восхищением, с уважением, с благодарностью.

Да и сам Эрнст, вскоре после этого случая, сказал мне, что хотел бы повнимательнее посмотреть ворошиловские работы.

И я не поленился принести ему некоторое количество картинок.

И Эрнст Неизвестный внимательнейшим образом, посерьёзнев, собравшись внутренне, как-то решительно, сразу же войдя в ворошиловский мир, углубившись в него, сосредоточившись, изучал Игореву живопись и большую стопку графики.

И потом сказал мне:

– Какой художник! Да, Ворошилов – очень талантливый человек. Невероятно талантливый человек! Я так рад за него. Ты обязательно это ему передай, Володя!

– Конечно, передам! – сказал я.

– Пусть Игорь всегда заходит ко мне! – сказал Эрнст. – Я ему всегда буду рад.

И я передал эти слова Игорю.

Он вначале смутился. А потом весь расцвёл.

Вот ведь как важно иногда слово, сказанное вовремя собратом по искусству, да ещё и человеком хорошим.

Однако слишком часто заглядывать к Эрнсту Ворошилов стеснялся. Деликатность его срабатывала.

Но встречи у них бывали, конечно. И хорошие встречи.

И о поступке Эрнста, о том, как он выручил Ворошилова, поневоле, от отчаяния, по счастью – ненадолго, да всё же в своё время ставшего этаким верхолазом, Игорь никогда не забывал.

**\* \* \***

...Весной семьдесят четвёртого навестил я Диму Плавинского.

Мастерская художника находилась в удобном во всех отношениях месте – в непосредственной близости от Садового кольца, всяческих магазинов и питейных заведений, в различные периоды жизни и в разные часы суток, особенно в считанные минуты перед их закрытием, человеку столичному, широкому, с размахом, с куражом, иногда остро необходимых, – а также поблизости от американского посольства.

Наверное, был май месяц.

По кольцу, посреди едких испарений, бензинового чада, по серому асфальту, под синими небесами, в обе стороны, туда и обратно, взад и вперёд, шли непрерывными рядами легковые машины и грузовики, и вся эта движущаяся куда-то на своих шуршащих колёсах масса издавала многообразный, непрерывный гул.

А в мастерской у Димы было просторно и тихо.

Посреди помещения стоял сам художник, взъерошенный по-мальчишески, отчего сразу же хотелось сказать – ершистый, крепенький, ну прямо этакий корешок, а то и кремушек, остро поглядывая цепкими, всё запоминающими глазами, на меня, говорящего слова приветствия.

Но стояние, то есть – простой, безделье, – было не для него.

И вот, буквально через минуту, весь он был уже в движении, в действии.

Он поднимал с пола и куда-то примеривал, прикладывал всякие деревяшки, чурбачки, полоски кожи, куски жести, планки, дощечки; он переставлял из угла в угол картоны, табуретки, тяжёлые рулоны свёрнутого холста, выглядевшие в его маленьких, крепких руках стволами артиллерийских орудий; потом он решительно шагал в глубину мастерской – и там начинал действовать: чем-то шуршать, шелестеть, наводить какой-то особенный, полуфантастический, одному ему ясный порядок; потом он двигал стол, передвигал нечто совсем уже тяжёлое, почти неподъёмное, и прекрасно с этим справлялся, сам, без всяческой помощи; потом он занырнул куда-то далеко и на время исчез из виду – но вот он уже вынырнул оттуда, довольно потирая руки, – и сразу же принялся за другое действие.

Всё это продолжалось довольно долго.

Наконец он остановился, перевёл дух, ещё разок, взглядом рачительного хозяина, огляделся по сторонам, уселся посреди мастерской на стул и закурил.

– Зашился! – сообщил он, выпуская изо рта художественно поднимающиеся к потолку сизые клубы сигаретного дыма. – Зашился! – повторил он со значением. И тут же рассмеялся – вроде как и себе самому, и своему короткому сообщению. – Зашился! – повторил он в третий раз. И тоном выучившего трудный урок школьника продолжил: – Теперь всё можно. Чай – можно. Кофе – можно. Наркотики – можно. А вот алкоголь – нельзя!

– Ничего, Дима! – утешил я его. – Зашился так зашился. Значит, надо было так поступить. Работе твоей это вовсе ведь не мешает. Скорее, помогает.

– Помогает! – живо откликнулся Плавинский. – Вон, смотри!

Он мотнул кудлатой головой куда-то себе за плечи.

Там возвышалось произведение, которое хотелось назвать монументальным.

Фактуры, вещности, самого разнообразного материала было в нём столько, что вся эта рельефная и почти скульптурная густота вырывалась из Диминого творения, пёрла из него, выдавливалась, разбухая от своей тяжеловатой щедрости, как тесто, норовила вылезти за края огромного прямоугольника, светилась, мерцала, вспыхивала
разноцветными огоньками, бликовала, испускала яркие лучи, – но ещё и звучала.

Да, я различал музыку, музыку, издаваемую новой Диминой картиной – если так, за неимением другого термина, можно было назвать её, – музыку собранного в некий синтез материала, музыку всей этой концентрации красок, полутонов, переливов, мазков, сгустков, дающих произведению жизнь, заставляющих его двигаться, дышать, разговаривать, петь, издавать гармонические рулады и дисгармонические скрежеты, шорохи, шумы, и соединяться в аккорды, и тянуться от нижних тонов к верхним, и рождать мелодии, звучащие одновременно, – и это была полифония, достигнутая в изобразительном искусстве так, будто бы это была именно музыка, сложная и чудесная.

– Здорово, Дима! – сказал я.

– Крыша! – скромно пояснил Плавинский. – Это всего-навсего крыша. Похоже?

– Ну, это ты деликатничаешь, – сказал я. – Сильная вещь.

– Получилось, – сказал Плавинский.

Он опять закурил. Сощурился на своё новое создание. Откинулся назад, расправил плечи. Во всём его облике чувствовалось одно: сам он знает точно, что работа удалась.

– Молодец! – искренне сказал я.

Дима из-под струек дыма взглянул на меня. Глубоко вздохнул. И только после этого вздоха упрямо и грустно вымолвил:

– А я вот – зашился...

Ну что мне на это было сказать?

О Плавинском и его периодических «зашиваниях» по Москве ходили легенды.

Одна из них гласила следующее.

Однажды, в полосу очередного «зашивания», Диме, человеку пьющему, так захотелось выпить, что сил никаких не было стерпеть, попробовать удержаться от соблазна. И тогда он примчался к Нине Стивенс, известной собирательнице живописи и графики нашего авангарда, среди художников именуемой по-свойски, Стивенсонихой, и занял у неё четвертную. Затем он пулей сгонял в магазин за водкой. И вернулся обратно. И, трясясь от нетерпения и мучительного желания немедленно выпить, вынул из кармана заранее припасённую безопасную бритву. И вырезал этой бритвой, по живому, ненавистную пакость, которую зашили ему под кожу. И открыл бутылку водки. И одним духом выпил её. И свалился тут же, окосев. И заснул, как младенец. И ничего с ним не случилось. Остался жив. И продолжал выпивать. Но ещё – и много работать.

Плавинский – вообще живучий человек. Во всех смыслах. И это замечательно.

И я мог бы об этой живучести его, человеческой, житейской, творческой, – рассказать немало историй.

Но оставим их на потом.

А пока что – сохраним в памяти крепкого, кудлатого, временно зашитого Диму в его мастерской.

И – только что созданную им работу, звучащую столь же крепкой, как и сам этот художник, и столь же целостной, как и сам он, сложной и чудесной музыкой, очень земной, но и небесной, ибо не просто так рождается на свете искусство, и скажем себе и читателям, что это, вне всяких сомнений, ставшая духом и образом времени и горения – музыка бытия.

**\* \* \***

…В семьдесят пятом году.

В тёплую пору, когда людей столичных, изрядно стосковавшихся, в месяцы прежние, по солнцу, доброму, щедрому, радовала природа свободным своим цветением и зеленью новой своей в окрестных парках и скверах, и люди, на солнышке щурясь, незаметно, неудержимо, становились и сами светлее, и легче им было дышать, и птицы повсюду пели о том, что выжить сумели, о том, что спеть не успели, но могут всё наверстать сейчас, и ветер весёлый, хмельной, летал над столицей, и всё, что встарь небылицей казалось, легко и просто уже превращалось в новь, и явь становилась былью, и всех чудес изобилье, как свет, проникало в кровь.

Наверное, в самом конце бурной этой весны.

Или в самом начале желанного для всех нас, нового лета.

Позвонил мне однажды Зверев.

Как нашёл меня? Как всегда.

По чутью своему, звериному.

– Алё! Это я. Привет! Приглашаю тебя на обед.

– Куда?

– К одному писателю. Советскому. Это так, для справки. Но человек он, так я думаю, вроде хороший. Собирает мои картинки. Покупает их иногда. Я решил, что тебе, как следует, надо поесть. Да и мне тоже не помешает. Повидаемся снова. А то мы давненько с тобой не виделись. Придёшь?

– Хорошо, приду.

– Тогда записывай адрес.

И Зверев продиктовал мне этот писательский адрес.

Я спросил его:

– Толя, скажи мне, можно с дамой туда прийти?

Зверев хмыкнул:

– Что, дама голодная? Как и ты?

Я сказал:

– Конечно. А ещё – ей будет приятно познакомиться там с тобой.

Зверев хрюкнул:

– Да пусть приходит. Можно, раз уж она – с тобой. А еды там хватит на всех. Жду обоих вас. Ну, до встречи!

В нужный день, в нужный час я приехал, вместе с дамой, к писателю этому, не припомню, как звали его, но, как Зверев сказал, советскому.

Разыскали мы, пусть и с трудом, на окраине, блочный дом. Перед ним – пустырь. А подальше – симпатичный, густой лесок.

Поднялись на нужный этаж. Позвонили несколько раз.

Дверь открыл нам – советский писатель.

Невысокий. Почти невзрачный. Но – приветливый. И весёлый.

– Заходите, друзья, заходите!

Мы зашли в небольшую квартиру. Двухкомнатную. А может, и трёхкомнатную. Но – компактную. С невысокими потолками. Как и сам советский писатель.

Навстречу нам ринулся Зверев:

– Приехали? Ну, хорэ!

Я сказал:

– Добрались. Нашли.

Зверев, щуря пристально глаз:

– Это дама твоя?

– Как видишь!

Зверев, глядя в упор:

– Хороша!

Дама в самом деле была не хорошенькой, а красивой. Стройная, словно воздушная. Длинные тёмные волосы. Не голубые, а синие, магнетически притягательные, искрящиеся глаза. Лёгкое платьице ситцевое казалось на ней нарядом загадочной сказочной феи. Да и тайна в даме была. Но ещё и тяга к мистичности. Это было модным тогда, в середине семидесятых. Но мистичность в даме не просто увлечением модным была, а её сокровенной сутью. Позже я убедился в этом.
А пока что я принимал всю её, со всеми загадками, недомолвками, откровениями неожиданными, туманными, иногда, но чаще – пронзительно, удивительно ясными, с явной ирреальностью, но и действительно, как ни странно, вполне реальными, не случайными вовсе, но к месту возникавшими, точными, вовремя изрекаемыми, с улыбкой, ироничной или блаженной, с вырывающимся в пространство грозным или довольно мирным, обострённо чутким ко всем переменам в мире, живучим, жгучим пламенем синих глаз, то прикрытых слегка, то вдруг широко и смело открытых, прямо в жизнь, и куда-то дальше, за какую-то грань, куда лишь одна она была вхожа постоянно, – такой, как есть.

Держалась она спокойно, с достоинством, без кривляний. Цену себе она знала. И в богеме – знали её.

Дама сказала Звереву:

– Познакомиться с вами я рада!

Зверев молча кивнул головой.

В квартире была – чистота. В квартире был – полный порядок. Пол был натёрт до какого-то астрального, что ли, блеска.

На стенах, в хороших рамах, висели работы зверевские.

В основном пейзажи. Добротная, сильная живопись, маслом.

Но были там, разумеется, и портреты. Как же – без них?

Один из пейзажей – лес – был сверху, прямо по живописи, усыпан пожухшей хвоей – иголками, сохранившими упругость свою, сосновыми.

Я спросил у Зверева:

– Толя, объясни мне, а это – зачем?

Он ответил:

– Я рисовал, я старался. И вдруг захотелось, чтобы в этой моей работе появились частички леса, настоящего. И тогда я отправил хозяина – в лес. Тот, который там, за окном. Вот он, видно его. За хвоей. И принёс мой заказчик иголки сосновые, целую пригоршню. И я, с превеликой охотной, усыпал ими работу, прямо по свежей живописи. И они здесь легко прижились. Что ты скажешь? Хороший ход?

Я сказал:

– Ход – именно зверевский.

Зверев:

– Стал мой пейзаж, отличный, подчеркну, на ежа похож.

Пока мы смотрели работы, хлопотал писатель на кухне. Что-то он жарил, варил. Доносились оттуда в комнату возбуждающие аппетит, ароматные, тонкие запахи.

Потом писатель из кухни приносил различные блюда – и ставил их, как заправский повар, быстро и ловко, в той комнате, где втроём находились мы, на просторный, застеленный свежей скатертью, заполняемый снедью стол.

Наконец писатель сказал:

– Всё готово. Прошу к столу!

И уселись мы все за стол.

И трапеза – началась.

Были тосты. Писатель их говорил – со знанием дела.

Словно в Грузии где-то мы пировали, а не в Москве.

Был писатель таким хлебосольным! Угощал нас всех – от души.

– Ешьте, пейте, друзья!

И мы с удовольствием ели и пили.

А потом – начались разговоры.

И писатель спросил меня:

– Что, Володя, вас не печатают?

Я ответил:

– Нет, не печатают.

– Как же так? – воскликнул писатель, с показным, излишне бравурным, огорчением, – я читал ведь, в самиздате, ваши стихи! Ничего в них крамольного нет. Никакой нет антисоветчины. Есть – поэзия. Почему же не печатают? Непонятно.

Я сказал ему:

– Нет, понятно.

– Что? Скажите!

– Да всё очень просто. Непохож ведь я на других.

– Вот и правильно, что непохож. Лично я приветствую это.

– Непохож потому, что я не советский, а русский поэт.

– Понимаю, – сказал писатель, – не советский, а русский. Здесь возразить действительно нечего. Сразу всё становится ясно. Трудно будет вам. Вы ещё молоды. Вы готовы, скажите, к трудностям?

Я ответил:

– Да, я готов.

Зверев:

– Трудности мы одолеем.

Дама:

– Главное – живы стихи.

Зверев:

– Живы. И все мы – живы.

Дама:

– Будет писать Володя, с каждым годом, всё лучше и лучше. Он читал недавно стихи, у знакомых своих. Я слушала их внимательно – и заплакала. И тогда поняла я: это – непрерывное, неудержимое и по сути своей могучее, со вселенскими ритмами связанное неразрывно духовными нитями, сквозь пространство и время, вдаль и вперёд, прямиком в грядущее, возрастающее движение животворной и светлой речи.

Зверев:

– Дама твоя, Володя, разбирается, вижу, в поэзии. Интересно – что она скажет о моих картинках сейчас?

Дама:

– Толя, твои работы достоянием станут вскоре государственным.
А потом, не пройдёт и полсотни лет, даже меньше, в Москве откроется, вижу это я, твой музей.

Зверев:

– Надо же! Мой музей!

Дама:

– Да!

Зверев:

– Ты провидица?

Дама:

– Можешь и так считать.

И писатель – тост произнёс.

За победу русской поэзии.

За победу искусства русского.

За победу моих стихов.

За победу зверевской – всей – живописи и графики.

И пришлось нам за это – выпить.

Был обед – отменным, вкуснейшим. Да, писатель – умел готовить. И доволен был тем, что его кулинарное, высшего класса, категории высшей, искусство оценили мы все высоко.

Сразу столько слов о высоком прозвучало, в квартире этой, с невысокими потолками, в честь хозяина, гостеприимного, невысокого роста, приятного и приветливого человека, и писателя, пусть и советского, принимавшего нас у себя!

И ему – это было приятно. Раскраснелся он весь – и стал говорливее, стал вести себя всё свободнее и свободнее.

Зверев что-то рассказывал нам, увлечённо и артистично. В роль вошёл он, изображал персонажей, тех, о которых говорил, иногда гримасничал, делал жесты руками, гибкими и подвижными, хохотал, то и дело стихи читал, и свои, и чужие, но, в основном, конечно, свои, привставал со стула, ходил, то вперёд, то назад, по комнате, иногда совершал круги, и, вполне возможно, магические, и обратно за стол присаживался, словом, был художник в ударе.

Синеглазая дама изрядно захмелела – и вдруг ему, ни с того ни с сего, похоже, огорошив его, сказала:

– Тебя никогда не били!

Зверев так побледнел, что лицо его стало вмиг совершенно белым.

Он взглянул на даму горящими так, что боль в них пылала, глазами:

– Это меня не били?

И схватил он стакан с вином – и с размаху плеснул вином в лицо синеглазой даме.

Дама вскрикнула – и зарыдала.

И вскочила из-за стола.

И бросилась – вон из квартиры.

И за нею хлопнула дверь.

Зверев поднял взгляд на меня и сказал:

– Ты её догони. И верни сюда, непременно.

Я выбежал из квартиры. И увидел возле подъезда синеглазую даму, плачущую от обиды и потрясения.

И сказал ей:

– Напрасно ты глупость такую брякнула! Это Зверева, что ли, не били? Ты представить себе не можешь, сколько раз его избивали. Он весь изломан, запомни. Хорошо, что живучий. Чудом оставался он часто жив.

Дама, всхлипывая, сказала:

– Ничего я не знала об этом, поначалу. Потом – увидела всё, что было с ним в прежнее время – и увидела сразу, внезапно, всё, что будет с ним впереди. Ну а там такое, что лучше мне об этом не говорить.
И решила я Толю тогда подколоть, так, слегка, немного. Пошутить, грубовато, знаю, чтобы этим его защитить. Неудачно всё получилось. Зверев
смысл моей фразы не понял. Но чутьё у него звериное, это сразу стало мне ясно. И о чём-то он догадался. Потому и плеснул вином – не в меня, а в то, что почуял за словами моими резкими. Может, надо мне было всё же промолчать тогда? Нет, не надо. Лучше было – сказать. И я всё сказала ему, напрямую. Признаю, получилось жестоко. И теперь я, конечно, раскаиваюсь. Но – не полностью. Потому что я должна была это сказать. И ещё я чувствую – Зверев начинает всё понимать.

Я сказал:

– Пойдём-ка обратно. Успокойся. Нас ждут. Пойдём.

И вернулись мы с ней в писательскую, с хлебосольным застольем, квартиру.

Дама, сразу:

– Прости меня, Толя!

Зверев:

– Ладно уж. Бог простит.

И наполнил вином стаканы.

И сказал, обращаясь к даме благодушно:

– Старушка, выпьем! Успокойся, да поскорее. Не сержусь я уже нисколько на тебя. Ну, за дружбу! Мир!

И просиявшая дама выпила вместе со Зверевым.

И мы с писателем – выпили.

Зверев – тихо и грустно – даме:

– Почему ты это сказала – что меня никогда не били?

Дама:

– Честно?

Зверев:

– Конечно.

Дама:

– Видела я, что тебе предстоят испытания в будущем – и похлеще всех предыдущих. Будут бить тебя, к сожалению. И сильнее, чем раньше били. Потому-то я и сказала, что тебя никогда не били. Но куда страшнее побоев – и душевные муки твои, и житейские сложности разные, что изматывают тебя, не дают покоя тебе никогда, ни ночью, ни днём. И спасением станет любовь для тебя, запомни – любовь. За неё ты крепче держись. И тогда ещё поживёшь. И в искусстве многое сделаешь.

И задумался Зверев о чём-то. К даме вдруг обратился:

– Послушай! Неужели ты всё же провидица? Ну откуда ты знаешь, что будет, через сколько-то лет, да не где-нибудь, а в Москве у нас, мой музей?

Дама:

– Толя, поверь, так бывает – часто вижу я всё наперёд.

Зверев:

– Надо же! Значит – бывает!..

Дама:

– Да.

Зверев:

– Ясно. Хорэ!

И писатель сказал:

– Ура! А теперь – давайте-ка выпьем!

И воскликнул Зверев:

– Давайте! Ну, хозяин, скорей наливай!

И застолье наше продолжилось.

И пришёл незаметно вечер.

И настала пора покидать нам троим – квартиру писательскую.

Попрощались тогда мы с хозяином.

И на улицу вышли, втроём.

Зверев, я и притихшая дама.

Загорались окна в домах. И стеною тёмной казался тот лесок, в котором писатель собирал иголки сосновые, для пейзажа свежего зверевского.

Толя – мне:

– Вы теперь куда?

Я:

– Пока что и сам не знаю.

Дама:

– Что? Мы поедем ко мне.

Зверев – нам:

– Я вас довезу.

Помахал рукой на обочине.

Остановил такси.

Пригласил нас:

– Ну, залезайте!

И поехали мы, втроём, на такси, в сердцевину тёплого, в огоньках, повсюду мерцающих, разгорающихся, под звёздами в ясном небе, столичного вечера.

И довёз нас, меня и даму синеглазую, Зверев до места.

И сказала Звереву дама:

– Толя, ты уж прости меня!

И ответил ей Зверев:

– Забудь!

Я сказал:

– Что ж, до встречи, Толя!

Зверев – мне:

– Постой. Погоди.

Из-за пазухи вынул бутылку коньяка. Протянул её мне:

– Пригодится ещё. Держи.

Взял бутылку я:

– Вот спасибо! Просто чудо! А как же – ты?

Зверев – мне, улыбнувшись лукаво:

– У меня есть ещё две бутылки!

И потряс полой пиджака. Там действительно что-то булькнуло, мелодично, тихонько звякнуло.

Я:

– Понятно. Тогда – всё в порядке.

Зверев – даме:

– А это – тебе!

И достал из-за пазухи две шоколадки, лимон, апельсин и большое румяное яблоко.

Протянул это даме:

– Держи!

Дама:

– Толечка, вот спасибо!

Зверев – ей:

– Старушка, держись! Будь поласковее с Володей.

Дама – Звереву:

– Постараюсь!

Я достал из портфеля свой сборник самиздатовский:

– Толя, дарю!

Зверев:

– Это серьёзный подарок. Не коньяк, не лимон, а стихи. Подпиши-ка мне сборник свой.

Я спросил:

– А чем подписать? Ручки нет у меня. Потерялась.

Зверев:

– Ручка всегда найдётся. Или, может быть, карандаш.

Он порылся в карманах. Достал карандаш оттуда:

– Держи!

Сборник свой я ему подписал.

– Вот, готово. И ты держи. Карандаш свой возьми, пригодится.

Зверев сунул сборник за пазуху. Карандаш – положил я карман.

Я сказал ему:

– Почитай ты стихи мои, на досуге.

Зверев:

– Будет в жизни досуг. В перерывах, после работы. И поэтому не сомневайся – почитаю твои стихи. Потому что мне они нравятся.
А верней – они мне по душе. И плевать, что тебя не печатают. Напечатают, будь уверен. Всё, до строчки, потом напечатают. Наше время – там, впереди. Там, в грядущем, высоким слогом говоря, мы с тобой когда-нибудь встретимся. Ты – стихами, а я – картинками. Это будет именно так. А пока что – пускай стихи твои не печатают оглоеды и тупицы советские всякие. И картинки мои пускай гады всякие не выставляют. Ни следа от них не останется, от тупиц, оглоедов и гадов. Даже мокрого места и то не останется. Так, пустота. Ну а мы с тобой – победим.

Я сказал:

– Да, мы – победим.

Синеглазая дама слушала наши речи – и вдруг заплакала.

Я спросил её:

– Что с тобой?

Дама:

– Ах, вы такие хорошие, оба! Жаль мне вас почему-то. Но и я понимаю: вы оба обязательно победите.

Зверев:

– Слушай, Володя, пророчицу. Значит, видит всё наперёд.

Шофёр – из машины:

– Кто-нибудь поедет дальше? Я жду. Ну а счётчик, понятно, крутится. Так что вы поскорей решайте – кто поедет, а кто остаётся.

Зверев:

– Надо мне ехать. Дела у меня. Мы ещё увидимся.

И уехал он. На такси.

По делам. По своим, по зверевским.

Дел немало ведь у художника.

Даже вечером. Да и ночью.

Мы остались вдвоём. И дама мне сказала:

– Какой он славный, этот Зверев! И одинокий…

И покрепче взяла меня под руку.

И глаза её синие вспыхнули благодарным, горячим огнём.

В небе звёзд было вдосталь. И вечер был на редкость тёплым. И нын-
че кто же вспомнит и кто нам скажет, что таилось когда-то в нём?..

**\* \* \***

…Снова вспомнилось давнее чтение стихов, моё чтение в семьдесят седьмом, непростом для меня и бурном весьма году.

Один мой знакомый, случайно, устроил мне это чтение, или творческий вечер, так ведь звучит намного солиднее, в театре, который, как выяснилось из беседы с ним телефонной, деловой, как сказал он мне тогда, находился в Царицыно.

Читал я стихи свои в ту пору довольно часто.

И, тем более, был обещан мне за чтение – гонорар.

А средства к существованию были мне очень нужны.

И решил я с собою взять, на чтение это, Зверева.

Я сказал ему:

– Толя, меня приглашают стихи читать, в театре одном, в Царицыно.

Зверев буркнул:

– Да? Хорошо.

Я сказал ему:

– Толя, представь, мне за чтение это – заплатят.

Зверев хмыкнул:

– Ну, наконец-то понял кто-то, что чтение, друг мой, и не чьё-нибудь там, а твоё, подчеркну, особое чтение стихов, которое было, и есть, и будет всегда уникальным, неповторимым, – это тоже большая работа.

Я спросил:

– Ты поедешь со мной?

Зверев сразу ответил:

– Поеду.

И вот, в назначенный день, мы поехали с ним в Царицыно.

Разыскали театр, в котором предстояло стихи мне читать.

Нас встретили шумной толпою симпатичные люди, актёры. Молодые, весёлые, дружные. Приветливые, оживлённые.

Молодые женщины, очень интересные, – как же, актрисы! – надо марку держать им, быть привлекательными всегда.

Парни, крепкие, даже спортивные, так могло показаться, подтянутые, словно все, как один, готовые к репетициям и спектаклям.

Все актёры театра в Царицыно.

Все встречали сегодня нас.

Ну и что с того, что не знали их мы доселе, что мы их видели, сразу всех, нарядных, взволнованных и общительных, в первый раз!

Важно – то, что мы с ними встретились.

Труппа славная. Коллектив.

Так скажу я. В них был, заметил я, добрый свет, сплошной позитив.

Актёры:

– Приехали! Здравствуйте!

Я:

– Здравствуйте!

Зверев:

– Привет!

Актёры:

– Давайте знакомиться!

Назвали свои имена. Так много их было, что я, признаться, теперь их не помню.

Я – актёрам:

– Позвольте представить: Анатолий Зверев, художник.

Зверев, щурясь:

– Да, это я.

Всполошились актёры:

– Зверев? Это вы? Тот самый? Серьёзно?

Зверев – им:

– Конечно. Тот самый.

И актёры:

– Ну, чудеса!

Зверев – им:

– Доживём, надеюсь, мы сегодня и до чудес.

Актёры:

– Вот это встреча! Сам Алейников к нам приехал, да ещё и вместе со Зверевым!

Я – актёрам:

– Значит, судьба.

Привели нас актёры в театр.

И настало время читать мне актёрам стихи свои.

И читал я стихи. Говорить мне приходится часто об этих, в годы прежние, чтениях. Так уж получалось. Выходит, нужны были чтения эти людям. Что с того, что меня не печатали? Наплевать на это. Подумаешь, что ни шаг, то сплошные запреты! Люди слушать умели тогда. Люди сами решали, что им было близким, а что – далёким. И стихи мои были в ту пору, героическую, орфическую, – им действительно необходимы.

И надо сказать, что слушали актёры меня – замечательно.

Внимание их оказалось – поистине изумительным.

Такого теперь, посреди затянувшегося «как бы времени», с его абсурдом и хаосом, с дичайшей подменой ценностей, с бессмысленной вседозволенностью всеобщей, давно уже нет.

А тогда, в минувшие годы, со всеми их, оптом, сложностями, жива была – человечность, и радость была жива.

И если стихи читал я собравшимся слушать людям, то в душах их оставались надолго мои слова.

После чтения моего пригласили меня и Зверева все актёры в большую комнату, где накрыт был длиннющий стол.

На столе – бутылки с вином. И закуски. Всё честь по чести.

Вот какие были актёры. Было всё у них – по-людски.

Мне вручили конверт с деньгами, заработанными, за чтение.

Поместились все за столом.

Все мы – выпили и закусили.

Начались потом – разговоры.

Зверев – мне:

– Хорошо ты читал. Да ещё вот и заработал. Молодец, Володя! Хорэ!

Я:

– Ты знаешь, устал я, Толя. Напряжение было большим.

Зверев – мне:

– Значит, надо выпить.

И налил в стаканы вина.

И мы с ним вино это – выпили.

Один из актёров, рослый, стройный, весёлый парень, был за столом –
тамадой. И тосты он говорил – затейливые, забавные. И шутил. И ритм задавал особый – застолью нашему.

И в руках его появилась – гитара. И стал он петь задушевно – романсы старые. И пел он их – замечательно.

Зверев слушал его с удовольствием. И спросил его вдруг:

– Старик! Помнишь песню – «Цыплёнок жареный»?

И ответил актёр:

– Да, помню.

Зверев, этак лукаво:

– Спой!

И актёр тогда – спел «Цыплёнка».

И воскликнул Зверев:

– Бодрит!

И сказали ему актёры:

– Нарисуйте что-нибудь нам.

Зверев их оглядел. Сказал:

– Сколько вас? Поскорей считайте. И несите сюда бумагу. Чтобы столько было листов, сколько здесь, за столом, людей. И несите – чем рисовать. Всех я нынче увековечу!

И актёры разволновались. Побежали – искать бумагу. И нашли какую-то мятую, желтоватую пачку листов. И какие-то карандаши. Принесли. Положили на стол.

Зверев – стал рисовать. С прибаутками. Но на деле – вполне серьёзно. Виртуозно, как и всегда. Острым взглядом посмотрит внимательно на актёра или актрису, изучая лицо, – и вскоре на листе возникает рисунок. Да ещё и какой! Чудесный. Так вот – всех актёров, слегка обалдевших от артистизма и порыва свободного творческого, вдохновенный художник стремительно, словно в трансе,
нарисовал.

Положил карандаш на стол.

Хрипловато сказал:

– Ну, всё!

И в руках у актёров – у каждого – был портрет его, нарисованный, прямо здесь, в их театре, – Зверевым.

И смотрели они на Зверева изумлённо, как на волшебника.

И сказал тогда Зверев актёру-тамаде, с гитарой в руках и с портретом своим:

– Старик! Если можешь, то спой «Цыплёнка»!

И воскликнул актёр:

– Могу! Я сейчас!

И немедленно спел.

И Зверев был очень доволен.

И выпил вместе с актёром.

И хорошее настроение было общим за нашим столом.

Так вот внёс артистичный Толя в театральное наше застолье элементы перформанса, так ведь называется это действо в новом веке, с его новациями, чьи истоки – найдут в былом.

И потом провожали нас все актёры:

– Спасибо!

– До встречи!

– До свидания!

– До свидания!

Всё осталось теперь – вдали.

В дымке призрачной. Там, в Царицыно. Там, совсем далеко. Далече. Там, где наши звучали речи. Где беседы мы встарь вели. Там, давно. Так давно! Когда-то. Где актёры в театре – с чудом повстречались. Оно –
живое. Для людей. И – для всей земли.

**\* \* \***

От Жени Рейна. Письмо.

В ту пору, когда мы с ним ещё были на «вы».

*16.Х.84*

*Володя, дорогой!*

*Ваше письмо я прочёл только сегодня, и нет слов объяснить, как я тронут им. Недаром, ещё не читая его, я написал Вам на книге – «брату по судьбе». Всё в этом письме замечательно, точно и достойно.
Я не говорю о Ваших суждениях о моих стихах, тут не мне разбираться. Такие письма имеют большое значение – они поддерживают человека, помогают двигаться через всю похабель, что надо преодолеть. Я нахожу Ваше письмо замечательным документом, направленным в обе стороны – мою и Вашу.*

*Я всегда ценил Вас как поэта, как человека знал Вас очень мало. Прочёл я оставленные Вами стихи. Вы один из лучших поэтов нашего языка сегодня. Вы поэт особенной, редкой группы крови. Все мы патриоты времени, вы патриот пространства.*

*Особенно хороши: «Луна в сентябре», «Так в сумерках порой...». Замечательные «Флоксы», стихи о Тавриде, понравились и «Сумерки», но вообще последние стихи больше, так и надо, мне кажется.*

*Я еще раз убедился, Вашу книгу вполне реально издать, она произведёт большое впечатление в литературе.*

*Я звонил сегодня по Вашему вопросу домоуправительнице Евтушенко – он собирается быть в Москве 26-го, но через несколько дней пилит куда-то на Запад. Кажется, и Гоголь говорил, что из прекрасного далека ему виднее. Только в одном случае в результате «Мёртвые души», а в другом... Вот и всё. Звоните, не забывайте.*

*Сердечно Ваш*

*Евгений Рейн.*

*Володя, все мы знаем себе приблизительную цену, но подтверждение её голосом другой судьбы и другого дара – может быть высшая ценность.*

Достаточно, пока что, и одного письма.

Просто – под руку подвернулось.

Оказалось, по-моему, кстати.

Ну а значит – само пришло.

Помню я один эпизод, связанный с Женей Рейном.

Семьдесят седьмой год. Наверное, май.

И Рейн – не на Рейне и не на Майне, а пока что – в Москве, в мае.

Было не просто тепло – жарковато.

Я бездомничал. Молча, устало, бродил по Москве.

Некуда было деваться.

Где притулиться? Где, хоть единожды, потому что было мне уж невмоготу без угла, в человеческих более-менее условиях переночевать, просто-напросто отоспаться?

Я вышел к Пушкинской площади.

Александр Сергеевич – смотрел на меня.

Ну а я – смотрел на него.

Показалось мне что ли, померещилось, может, что, внимательно, участливо на меня глядя с высоты своего пьедестала, в то же время своей головою кудрявой он показывает мне куда-то к себе за спину, за плечо.

Посмотрел я туда.

За Пушкиным стояла Россия. То есть кинотеатр «Россия». Но и это уже символично.

Пушкин опять кивает, указывает головой – туда, за плечо своё, чуть наискось от «России».

Посмотрел я в ту сторону, наискось от кинотеатра, – и сразу же вспомнил: там живёт ведь Женя Нутович!

Значит, мне и надо туда идти.

Поблагодарил я Александра Сергеевича, от всей души, за хорошую такую подсказку, – да и двинулся прямиком к Нутовичу.

Дом, в котором обитал Нутович, стоял осторонь от проезжей улицы, особняком, в небольшом, но уютном и чистом дворе.

Квартира у Нутовича была двухкомнатной, до отказа, до потолка, заполненная, завешенная работами из его знаменитой коллекции живопи-
си и графики нашего авангарда.

Вернее, квартира была коммунальной, но зато уж так устроенной, что у Нутовича получалась, внутри общей для всех квартиры, независимо от соседей, вроде как своя двухкомнатная квартира. И я очень надеялся, что в одной из двух комнат мне удастся сегодня переночевать.

Все к Нутовичу приходили – неизменно – с дарами.

То есть – с выпивкой. Алкоголь был привычной платой за вход, за возможность неторопливо познакомиться с произведениями тогдашнего неофициального искусства.

Я шёл туда тоже не пустой. В качестве даров, решил я, сгодится бутылка сухого вина, которую я целый день таскал с собою в портфеле.

Нутович принял меня приветливо. Даже обрадовался.

Я когда-то жил у него, в прежней, отдельной его квартире. Охранял одновременно его коллекцию. Там же с ним выпивал, бывало, и вёл бесконечные разговоры обо всём на свете.

Женя Нутович переехал с окраины в центр.

С одной стороны – коммуналка, и это нехорошо.

С другой стороны – центр, и вот это не просто хорошо, а поистине замечательно. Все к нему шли сюда – сами. Нутович –встречал гостей, принимал дары, то есть выпивку, показывал гостям разнообразные шедевры, разглагольствовал об искусстве – и вообще был для всех важен, для всех нужен. Так что оказался он, разменяв прежнюю квартиру с бывшей женой и переехав сюда, в самый центр Москвы, очень даже на месте.

Он принял от меня дар – бутылку сухого вина.

Мы прошли с ним в ту комнату, что побольше.

Я спросил его о ночлеге.

Он сказал, что проблем никаких с этим не будет – ради Бога, мол, оставайся, ночуй, да и вообще, если так уж надо, некоторое время просто живи.

Я слегка успокоился. Как в дальнейшем всё сложится – было мне самому неизвестно. Но во всяком случае нынешнюю ночь побуду здесь. Хоть отосплюсь.

Понемногу можно было и выпить.

Мы уже открыли бутылку. И уже собирались наполнить стаканы.

И вдруг...

Звонок, да какой! Оглушительный, долгий. А за ним – ещё и ещё. Звонки. Непрерывно – звонки.

Кто это может быть? Кто это – так вот звонит?

Нутович напрягся, вышел тихонько в коридор, слегка приоткрыл входную дверь.

За дверью – звучали, гремели, раскатывались эхом по лестничной клетке громкие голоса.

И вот в квартиру Нутовича шумной, буйной гурьбой вошли весёлые люди.

Женя Рейн. А с ним – весьма нарядная дама. Какие-то мужики. И все –
с тяжелыми сумками. А в сумках – множество выпивки. Предстояла, стало быть, пьянка. Или даже – гульба.

Все устроились, кто как сумел. Отдышались. Открыли бутылки.

И поехало, и пошло...

Нутович, сверкая очками, говорил о высоких материях и счастлив был несказанно, что столько в доме гостей.

Женя Рейн, громогласный, хмельной, поднимал то и дело тосты, вознося, всё громче, хвалу дружбе, выпивке и весне, вдохновенно читал Языкова, находясь на подъёме, на взводе, ну а может быть, и на взлёте.

Дама – слушала и пила.

Остальные – чокаясь, пили и опять наливали в стаканы, поначалу – водку, потом, да всё чаще, – только вино.

Появилась нежданно музыка. Вдруг – возникла. Сама собой? Нет, наверное, Женя Нутович начал ставить свои пластинки.

Гости бросились – танцевать.

Помню Женю Рейна, топочущего, по-туземски как-то приплясывающего, с пируэтами да с фигурами. Помню даму – вразлёт, вразброс, вдоль по комнате, с выкрутасами, каблучками своими топочущую, что-то смутное громко лопочущую. Помню прочих – в ритме, в пылу то ли танца, то ли движения в никуда, в пространство скольжения. И – Нутовича с водкой, в углу.

Пир горой, одним словом.

Помню, как Женя Рейн так раскачал, раскрутил свою даму, что с шеи у неё слетела золотая цепочка и упала куда-то на пол.

Рейн бросился искать цепочку. Остальные – тоже.

А цепочка, тоненькая, скользкая, узкой змейкой заползла закатилась куда-то – и никак, ну никак не находилась.

Всё это мне надоело.

И я отправился в соседнюю, маленькую комнату, чтобы наконец-то, хоть немного, поспать.

Лёг я прямо на полу – да и заснул.

Проснулся я оттого, что кто-то усердно тормошил меня за плечо.

Я слегка приоткрыл глаза.

Надо мною склонился Рейн.

– Вставайте, Володя, вставайте! – патетическим, гулким полушёпотом-полукриком призывал он меня подняться.

С неохотою, с недовольством и с трудом я всё-таки встал.

– Вперёд, Володя! Пойдёмте! – призывал меня Рейн.

– Куда? – спросил я его.

– Туда! Конечно же, в ночь!

– Зачем?

– Как зачем? Затем, что мы с вами – поэты!

Я стал искать свой портфель, который поставил где-то здесь, рядом с собой. Портфель был почему-то открыт – и из него исчез лежавший там любимый мой кожаный, техасский ремень, которым я подпоясывал джинсы. Очки были на месте, на столике, с краю. Я надел их. Посмотрел на Рейна.

Женя был чрезвычайно возбуждён. Как-то нервически взвинчен.

– Пойдёмте, Володя, пойдёмте! – поторапливал он меня.

– Цепочку нашли? – спросил я его.

– Цепочка? Что за цепочка? Ах, да! Не помню. Неважно. Наверно, нашли. Пойдёмте. Прошу вас, пойдёмте со мной!

Ну, что ж. Идти так идти. Не выспался я, конечно. Идти-то мне не впервой. Да только – зачем? И куда? Могли бы и здесь побыть. Никто ведь отсюда не гонит. Можно бы и подремать. А утро, как всем известно, вечера мудренее. Теперь же была – просто ночь.

Мы вышли в ночь. Вместе с Рейном. В московскую, хваткую ночь. Немедленно нас одурманив, она увлекала вперёд. Куда? Не всё ли равно! Мы – шли. А может – летели.

Мы двигались – в центре столицы, сквозь окна, сквозь фонари, вдоль стен, вдоль оград, вдоль улиц, дворами, по переулкам, вдоль тусклых витрин магазинов, сквозь воздух, сквозь ночь, сквозь сон.

И Рейн – само вдохновенье – в порыве, в походе, в полёте вращал глазами, как птица, взывал к небесам, кричал – о вечном, непреходящем, – стихами, порою – прозой, а то и приподнимался, как Аполлоний Тианский, над влажным, щербатым асфальтом, и в воздухе зависал, а то и горизонтально, как на картинах Шагала, перемещался в пространстве, трубя о чём-то своём в изогнутый рог, который к губам подносил надутым, а тo и крылья шуршали в ночи за его спиной.

И где-то мы с ним оказались – в доме ли Нирензее, или ещё где, – неважно, важно – что вместе, вдвоём, – и там нас встречала хозяйка, вполне приятная дама, – и снова стихи звучали – и ночь уходила прочь.

Под утро Женя потребовал, чтобы хозяйка сварила нам щи.

Она эти щи – сварила.

Но как мы потом оказались, на пару с Рейном, уже не в гостеприимной квартире, а прямо на площади Пушкинской?

Занятно, что я при этом всё время нёс на весу тарелку со свежими щами, а Рейн – две столовые ложки.

Потом почему-то мы – пришли к Александру Сергеевичу.

Представьте такую картину: сидят два поэта, с похмелья, у памятника, рядом с Пушкиным, плечом к плечу. Перед ними – тарелка со свежими щами. В руках у каждого – ложка. Поэты сидят – и едят.

И Пушкин – весело смотрит на Алейникова и на Рейна.

Ни мне, ни Жене, я знаю, вовек не забыть его взгляд!..

В середине восьмидесятых – перешли мы с Рейном на «ты».

И тут, казалось бы, можно припомнить ещё эпизоды – благо их было много... Но – сдерживаю себя.

Где же ты, Женя? Пушкин смотрит на нас обоих сверху, весело смотрит, – думаю, что – любя.

**\* \* \***

…Мы встретились с Лёней Губановым там, где мы обычно – (когда-то, так давно, сорок семь лет назад), встречались – на Пушкинской площади.

Стояла поздняя, с листьями ржавыми под ногами, с холодом в подворотнях и на бульварах, осень.

Лёня, в общем-то невысокий, но достаточно крепкий парень, уж во всяком случае – с виду, потому что держался, словно удалой казак Стенька Разин, горделиво, с гонором, с вызовом, всем вокруг, решительно всем, сероглазый, губастый, с чёлкой, нависающей над бровями, кривоватой, неровно подстриженной, как-то резко, нервично подвижный, даже несколько суетливый, но при этом очень значительный, от сознания своего безусловного атаманства в разношёрстной ватаге московской, окружавшей его сплочёнными, боевыми, густыми рядами, да ещё – от того, что всё его бестолковое окружение дифирамбы пело ему, день и ночь, о его гениальности, да ещё потому, что действительно дар его был для всех несомненным, и ещё потому, что хотелось почему-то задраться со мной, конкурентом его первейшим, хоть и другом его, и соратником по сражениям прежним нашим, был немного навеселе.

Александр Сергеевич Пушкин, в виде памятника, стоял рядом с нами. Немного выше. Ближе к солнцу. Поближе к звёздам. Ближе к небу. На постаменте. Ближе к вечности. В двух шагах.

Мы стояли с Лёней Губановым – рядом с солнцем русской поэзии. Рядом с памятником. Стояли – на асфальте. Курили молча. Почему же мы встретились здесь? По традиции. По привычке. Место – в центре Москвы. Для всех – и знакомое, и удобное.

Поднял голову я тогда – и с почтением посмотрел – мол, приветствую вас, – на Пушкина.

Взбеленился Лёня Губанов – и сказал мне:

– Куда ты смотришь? На кого ты смотришь, Володя? И зачем? Ты смотри сюда!

И Губанов себя ударил кулаком по груди – сюда, мол, на меня посмотри. И встал – в позу памятника – на площади.

Посмотрел я на Лёню Губанова. Стало весело мне. И грустно. И смеш-
но. Пожал я плечами. Повернулся вдруг – и ушёл. Сквозь толпу. Подальше от Лёни, в позе памятника стоявшего. На которого с изумлением, вперемешку с недоумением, и уже со смехом смотрели и заезжие иностранцы, сплошь обвешанные неведомыми нам, тогдашним, людям простым, к разносолам любым непривычным и к обилию разной техники непонятной, фотоаппаратами, и привычные к неожиданным и сомнительным, буйным выходкам неустанно свободы жаждущей молодёжи, авось перебесятся, рассуждающие, москвичи.

– Ты куда? – закричал Губанов. – Подожди! Володя, постой!

Отмахнулся я от него. И пошёл. Всё дальше и дальше. Вглубь, пожалуй. И ввысь, конечно. К тем глубинам и к тем высотам, за которыми –
ясный свет. А потом – ещё и сияние. Дни – в трудах. Что стоили свеч. Дух. Путь. Дом. И – судьба. И – речь.

**\* \* \***

...Величанский встаёт – как лев Пиросмани – в кругу дерев. Львиный знак и полдневный пыл. Час полночный – в кругу светил. Звук подспудный – и зоркий взгляд. Рай вчерашний – и вечный ад. Свет столичный – и след во мгле. Снег привычный – в земном тепле.

Вижу Сашу Величанского – рослого, длинноногого, худого, даже очень худого, но не анемичного, а как раз мускулистого, жилистого, подтянутого, с короткими кудрями, с глазами, раскрытыми в мир, то весёлыми, с искорками, то сощуренными, глядящими куда-то внутрь себя, в такую глубь, куда никому, даже приятелям, доступа не было, вижу его всё время в движении, в постоянном движении – резко встающего с места, срывающегося с места и устремляющегося неизменно вперёд, стремительно идущего по улице, мгновенно реагирующего на любую сказанную фразу, динамичного, порывистого, задумывающегося – так всерьёз, говорящего – так уж интересно, переполненного энергией, молодого, после службы в армии поступившего в университет, – осенью шестьдесят четвёртого, среди листьев и окон, днём, в сентябре.

Он сам подошёл ко мне – чтобы познакомиться. Происходило это на «психодроме», во дворике МГУ, на Моховой.

Тогда, как ни странновато это сейчас звучит и как ни грустно мне говорить об этом, был я уже известен как поэт. Меня знали в Москве. Да и здесь, в университете, ко мне постоянно подходили – знакомиться, звали куда-нибудь – почитать стихи, просто хотели – пообщаться. Я уже стал даже к этому привыкать. Приятно, конечно. Известность. Впрочем, было это лишь самое начало давней моей известности. Я не носился с собой как с писаной торбой. Нос вовсе не задирал. Был таким, каков есть. Просто – самим собою. Выгод никаких из этого и не думал для себя извлекать. Наоборот, нередко испытывал неловкость. Даже смущался. При всей своей тогдашней общительности – внутренне оставался замкнутым.

Сашу же тогда ещё никто не знал. Ну, может, почти никто. Были ведь у него приятели, знавшие о том, что он пишет стихи. Но те люди, с которыми я постоянно общался, его пока что не знали. Ничего. Вскоре –
узнали. Я постарался его со многими познакомить. Сашиной известности в ту пору ещё только предстояло быть. Она едва начиналась. Но она состоялась. И я этому только радовался.

Итак, Саша подошёл ко мне – знакомиться. Мы пожали друг другу руки. Разговорились. И вдруг показалось мне, что я давно, хорошо его знаю. Более того – доверяю ему. Принимаю его – таким вот, каков он, Величанский, есть, полностью, без всяких оговорок.

Важно, что буквально на следующий день и Саша сказал мне напрямую, что сам он тоже ощутил какое-то особое родство со мною. А что тут удивительного? Всё дело было в поэзии и в том, что оба мы жи-
ли ею.

В тот раз, в день знакомства нашего, мы, конечно, читали друг другу стихи. Но как же – без этого? Было это, наверное, что-то вроде визитных карточек. Почитали друг другу – и многое стало ясным. Само по себе. И слов никаких лишних не потребовалось.

Ах, что это за время было – когда стихи жили в устном исполнении, воспринимались – с голоса! Орфическая пора. Такое – не повторится. Хорошее бывает только раз.

Он почитал мне – своё. Я почитал ему – своё. И началось – общение. Творческое. Настоящее. Да нет, наверное – дружба. Особая. Дружба поэтов. Отчасти – соревнование. Больше – потому, что не общаться мы просто не могли. Конечно, это судьба. Разумеется, этого просто не быть не могло. Свыше было сказано – быть! Вот поэтому оба мы и восприняли это как должное.

Величанский был старше меня на пять с половиной лет. Разница в возрасте вроде бы и подразумевалась, но не декларировалась. Мы всегда общались на равных. Да ещё, если вспомнить, как рано я начал
писать стихи и как быстро сформировался как поэт, разница в годах и вовсе исчезала, за ненадобностью. Жили мы – настоящим.

Саша был человек совершенно московский. И, хотя и родился он в Греции, оторвать его от столицы было невозможно. Парень из благополучной советской семьи. Из московской золотой молодёжи. Отец – журналист-международник, со своими заграницами, положением. Английский язык – ну прямо как русский. Повадки, замашки. Компании. Пьянство – масштабное, крупное. Помимо университетских занятий на истфаке – неутомимое самообразование.

Многое приходилось ему навёрстывать после армейской службы где-то в Белоруссии, в лесной глухомани, в ракетных частях, где московская Сашина компания – Петя Шушпанов, Вадик Гинзбург, ещё кто-то – пребывали, как в потустороннем мире, держались дружной, сплочённой стайкой, выживали, как умели, как получалось, пили самогон и прочие напитки, пили регулярно и крепко, так, что, например, когда выпадала возможность побывать в соседнем селе, то Шушпанова, уже надравшегося так, что больше не было смысла добавлять, дабы он не потерялся где-нибудь по дороге, они просто зацепляли его собственным ремнём за забор, вывешивали, так сказать, на воздух, а сами отправлялись в свой поход, и по возвращении в воинскую часть проспавшегося Петю с забора снимали, – впрочем, о периоде армейской службы московских приятелей куда лучше сказано в романе Шушпанова «Вброд через великую реку», до сих пор неизданном, а давно бы надо сочинению этому славному свет увидеть, – итак, после армии нужны были Саше – знания.

Он очень много работал. Помню его ранние сборники, подаренные мне. Стихи короткие, жёсткие.

– Сегодня возили гравий. И завтра – возили гравий. Сегодня в карты играли, и завтра – в карты играли. А девочки шлют фотографии, и службы проходит срок. Вот скоро покончим с гравием и будем возить песок.

Ну, это все знают. А вот:

– Выточил финку себе из напильника. Мне не в новинку – снова напился я. В клубе строителей хилому фраеру к радости зрителей в рёбрышки вправил я. ...но светит мне – и не зацапали даже в свидетели.

Или такое:

– Трубят трубы гарью, над городом горечь. Идут хулиганы – за корешом кореш. И в чёрных машинах, зашторив оконца, кто делал ошибки –
садовые кольца?

Что это? Каково? Столичный интеллектуал. Дома – гора книг на английском языке. А тут – прямо от Холина что-то. Ну, пусть от старого Кропивницкого. Но всё-таки...

Были это – подступы к самому себе. Пробы. Именно так назвал Саша крошечный этот раздел ранних стихов в сборнике «Удел», изданном с помощью друзей много позже.

– Как в отсутствие Одиссея Пенелопа себя вела? – женихи её так и сели, так и бросили все дела. Только солнышко над Элладой – ткёт старуха что было сил, а им теперь ничего не надо – лишь бы выпил и закусил.

Саша много писал и неуклонно двигался вперёд. Рос. Да, безусловно. Собственные интонации прорвались уже вскоре.

– Не какой-нибудь там, а простой парусиновый парус, и порядковый номер, и буква на парусе том, паруса задыхались, как люди, как люди, трепались и белели, как люди, на синем, потом на седом.

Потом было:

– Кто, – спросили у меня, – знает этого коня? Я ответил, что скорее, вероятнее всего это знают два еврея, два прекрасные еврея из картинной галереи возле дома моего.

Много чего было – потом.

– Я бы жил совсем иначе. Я бы жил не так, не бежал бы, сжав в комочек проездной пятак. Не толкался бы в вагоне, стоя бы не спал. На меня б двумя ногами гражданин не встал. Я бы жил в лесу усатом, в наливном саду этак в тыща восьмисотом с хвостиком году. И ко мне бы ездил в гости через жнивь и гать представитель старой власти в карты поиграть.

– Закат за осиновой сетью померк. И лёд выступает дыханья поверх. И яркая щель, что ведёт в магазин всё ярче – с исходом небес и осин.
И снег заскрипел высоко в небесах и падал потом, попадая впросак, как в чашку лохматую сахар-песок – исчез на губах, на ресницах просох. Озимые люди по избам сидят. Спасибо, соседи когда посетят: ведь время – не сахар, и сердце – не лёд, и снежная баба за водкой идёт.

– Мои стихи короче июньской белой ночи, но долгим свежим сумраком окружены они. И вы о них мечтали среди стекла и стали в казённые безжизненные дни.

Саша сидел за пишущей машинкой, печатал один самиздатовский сборник за другим. Он тоже, как и я, – писал не отдельные стихи, а книги, мыслил – книгами. Как они складывались у него – не знаю. Да и вообще это тайна. Личная. Творческая. Главное, что книги он писал. Всё новые. И образовался у него постепенно свой круг. Свои у него были – ценители, поклонники. Свои задачи – в поэзии.

– Крепчайшую вяжите сеть, но бойтесь умысла, улавливая суть (у истины запаса нет съестного: у истины судьба – на волоске висеть). Пусть вытекает слово, как море из улова, забыв свою оставшуюся сельдь.

– Ничего, ничего, ещё будет в чести эта малость тепла в человечьей горсти – стает снег под твоею озябшею тенью – только ты не забудь, не отчаивайся и прости. Ничего, ничего...

Он, кажется, бросил потом университет. Но все его знания, обширные, были при нём. И талант его был очевиден.

– В продолжении рода спасенья себе не ищи: нищету своей памяти ты завещаешь потомкам – и не видят они, как ты медленно таешь в ночи – на глазах исчезают, окутаны временем тонким. Никого не вини. Никому не печалуйся в том. Одиноким виденьем становится жизни истома. А кругом – тот же скарб, тот же скрип у дверей – тот же дом, тот же скверик с детьми перед окнами зримого дома.

– Лист оборвавшийся в каменном городе кружит. В каменном городе –
синие стёкла да камни. Камнем упала огромная первая капля в полуистлевшие старые пыльные лужи. Красный трамвай через мост продвигается синий. Чёрная очередь вьётся у жёлтой палатки. Серые листья на землю лиловую падки. Водки зелёной куплю поскорей в магазине.

– Ты не плачь, моя прекрасная, я молиться научусь, чтоб печаль твоя безгласная полегчала хоть чуть-чуть. Ты не плачь, моя печальная – это мне не по плечу – чистым золотом отчаянья я за это заплачу.

– Столько нежности сжалось во мне, столько горькой тоски по тебе я вобрал в свою душу, что порой удивительно даже, как ты можешь ещё оставаться вовне, как ты можешь ещё оставаться снаружи – на чужбине ноябрьской стужи, на бульваре пустом с ледяною скамьёй наравне.

– За одиночество, мой друг, нам надо выпить – годы вхожи к нам запросто теперь, и ворох шуб и пьяный шум исчезли из прихожей. По улицам бегут весельчаки, к гитарам прислоняются чубами, и девочки чуть тёплыми губами улыбок открывают тайники. Лучатся фонари.
И скоро – полночь. Итак, за одиночество, мой друг, единственное, может быть, единство. За время, удлиняющее ночь.

– Я научился плавать – знаешь где? – в эгейской одиссеевой воде, да, по которой плыл к своей беде царь Агамемнон в наказанье – и ветер нёс обрывки кос Кассандры-кликуши, а на Патмосе пророк лежал ничком. Пророческая пена – предтеча будущего пепла теснила берега ребяческий мирок... Два дюжих югослава, раскачав, меня в прибой швыряли, и волна мне помочь старалась выбраться на камни, ещё чуть тёплые сначала, сгоряча. Неподалёку от Афин, в воде не чуя огненного сплава, узнал я, что уменье плавать в том, что плывёшь один.

Работал – как все. В сторожах, частенько. Ну а когда стихотворение «Под музыку Вивальди» стало песней и песню эту начали часто исполнять, – некие скромные гонорары за исполнение песни приходили ежемесячно, равные примерно зарплате сторожа, – но и это ведь было кстати.

– Под музыку Вивальди, Вивальди! Вивальди! под музыку Вивальди, под вьюгу за окном, печалиться давайте, давайте! давайте! печалиться давайте об этом и о том. Вы слышите, как жалко, как жалко, как жалко! вы слышите, как жалко и безнадёжно как! заплакали сеньоры, их жёны и служанки, собаки на лежанках и дети на руках. И всем нам стало ясно, так ясно! так ясно! что на дворе ненастно, как на сердце у нас, что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна, что все мы будем счастливы когда-нибудь, Бог даст. И только ты молчала, молчала... молчала. И головой качала любви печальной в такт. А после говорила: поставьте всё сначала! Мы всё начнём сначала, любимый мой... Итак, под музыку Вивальди, Вивальди! Вивальди! под музыку Вивальди, под славный клавесин, под скрипок переливы и вьюги завыванье условимся друг друга любить что было сил.

Потом начались переводы. Константинос Кавафис. Вот, например. «Фермопилы».

– Честь и хвала всем тем, кто в этой жизни обрёл и защищает Фермопилы. Кто никогда не поступался долгом, кто справедлив равно во всех деяньях, но справедливостью печальной, милосердной; кто щедр в своём богатстве и тогда, когда он беден – щедростью врождённой, готовностью всегда помочь посильно, кто только правду говорит и всё ж сам не унижен ненавистью к лгущим. Честь ещё большая им подобает, если они предвидят (а ведь многие предвидят), что под конец возникнет Эфиастис и что мидийцы обойдут их всё же.

Даже Шекспир. Почему бы и нет? И Шекспир. Чтобы в русской речи он жил. Чтобы голос Величанского он обрёл – в небывалой полифонии, в перекличке всех голосов, говорящих по-русски за него, в каждом случае – неизменно – по-новому, с каждым новым столетием – продолжающих говорить, ибо сущность поэзии есть движенье во времени и пространстве, в любых измереньях, в любых направленьях, везде, где всегда она дома и в гостях у души, ибо свет его слова долговечней иных. Перекличка так перекличка. Переводы есть переводы.

И все последующие годы – стихи, стихи, стихи.

А тогда, в сентябре шестьдесят четвёртого, помню, Саша впервые приехал ко мне на Автозаводскую – и читал с листа мою осеннюю книгу.
Сохранилась она, к сожалению, не полностью. Изрядную часть, в тяжёлые минуты, о которых неохота вспоминать, я уничтожил. Саша читал мои стихи, впиваясь в каждую страницу взглядом. Читал – не просто усваивая, но – осмысливая. Входя в мой мир.

Несколько позже, зимой, там же, в комнате на Автозаводской, читал он начальные композиции моей книги «Декабрь – май». Вещи это сложные, в достаточной мере мистические, в чём сам я до сих пор убеждаюсь. Непривычными, слишком уж новыми, непохожими на всё остальное, с их спиралеобразным построением, пластикой, синтезом, казались они тогда людям. Вот и Саша вчитывался в тексты – с напряжением. Но вскоре, похоже, понял, по-своему, эти стихи.

Ещё позже, осенью шестьдесят пятого, он с огромным вниманием читал только что написанную мою книгу «Лето 65». И попросил у меня экземпляр книги, на время, домой. И там засел за машинку – и принялся её перепечатывать. И такой вот процесс усвоения текстов, когда, перепечатывая их самолично, человек лучше их постигает, как и в случае с Наташей Горбаневской, принёс свои плоды.

В чём-то Саша для себя – разобрался. Что-то важное для себя – открыл в моих писаниях. Такое, замечу, которое, как и Леонарду Данильцеву, дало ему некий нужный импульс для собственного творчества. Слава Богу, что так!

Саша сам говорил мне об этом. Откровенно. А что тут скрывать? Было это совсем давно.

Снег ли, дождь ли сегодня в мире – возвращусь я туда, где свет в сентябре золотист и молод, как и мы когда-то давно, не единожды. Вижу, вижу всё, что было со мною в прошлом. Понимаю – и говорю.

Память высветлит ненароком потайной сквозь пространство ход, напитает подспудным током каждый день мой и каждый год.

**\* \* \***

...На излёте семидесятых пришёл я, вместе со своей женой Людмилой, в гости к Генриху Сапгиру.

В ту пору мы с нею везде ходили вдвоём.

Потом у нас появились дети – и стало нам уже не до хождений по знакомым и друзьям.

А тогда, в короткий, от лета семьдесят восьмого до лета семьдесят девятого, период нашей свободы от семейных проблем, от житейских бессчётных забот, которые следует прямо назвать попросту выживанием, были мы с Людмилой неразлучны и охотнейшим образом навещали симпатичных нам и приятных, интересных для нас людей, – да и к нам они часто заглядывали.

Когда Людмила выходила за меня замуж, она прекрасно знала, за кого выходит и на что идёт.

Ведь известность моя – и в богемных кругах, и в других, где любили поэзию, и в Москве, и по всей стране, – была тогда велика.

Не менее велика была и молва всеядная – о бурной и беспокойной тогдашней моей жизни.

Однако молва – одно, а человек – другое.

И Людмиле, женщине мудрой, интересен был я – поэт, ну а дорог я – человек.

Уж такой, как есть. С недостатками.

И с достоинствами. И с возможностями.

С тем, что было во мне заложено.

Что раскрыться могло вполне.

С тем, что было живым, интересным.

С чем-то странным, почти чудесным.

С неким светом, земным и небесным.

С тем, что дорого было вдвойне.

Словом, тайна. Древняя кровь.

Радость. Молодость. И – любовь.

Ну а кроме того, ей однажды, когда-то, совсем давно, задолго до этого, жизненного, её несомненного подвига, ставшего для меня спасением, не иначе, вдруг возникшая перед нею, подошедшая к ней сама, незнакомая, разумеется, проницательная цыганка, посмотрев ей в глаза и взглянув на ладонь жарким оком своим, увидав судьбу её сразу, с полным знанием дела, уверенно, как по книге незримой, раскрытой там, где следует, нагадала, что супругом её окажется не простой человек, но поэт.

Вот и встретились мы с Людмилой. Над бездомицею постылой с небывалой доселе силой чувства вспыхнули. Ожил взгляд.

Пели Ангелы. Птицы пели. Две звезды в небесах горели. Было это давно. В апреле. Четверть века тому назад.

Где бы ни были мы – повсюду восклицали все: это чудо! Эта пара – она откуда? Не из рая ли? Что сказать!

Мы и сами того не знали. Но отчётливо понимали: нити, видимые едва ли, удалось нам во мгле связать.

Словом, счастливы были. То-то явь похожа была на сон.

И неслыханные щедроты стали музыкой вне времён.

Многоликий и многокрылый, был пред нами распахнут мир.

Познакомил меня с Людмилой – разумеется, Генрих Сапгир.

...Середина московского дня. Сердцевина его. До вечера – далеко. До ночи – тем более. День – и свет. Свободный. Живой.

Свет – и цвет: синевы, расплёснутой в ясном небе над всеми вёснами, а над этой весной – особенно, – и, конечно же – над Москвой.

Дом сапгировский, всем известный.

Посреди высокого дня.

В стороне от всякого шума.

Во дворе. Подальше от улицы.

Но зато – поближе к природе.

Пусть хотя бы на шаг. Всего лишь.

Но и это уже существенно.

Потому что – росли здесь деревья.

И стояла здесь – тишина.

Дом. Скорее – флигель. Скворешник.

Или нет – волшебный ларец.

Или, может быть, маленький замок.

Так могло показаться некоторым.

Было что-то в нём – театральное.

Что-то – вроде бы зазеркальное.

Потому что жил в нём – поэт.

...И вот открывается дверь квартиры на первом этаже – и седой, темноглазый, усатый Генрих встречает нас на пороге, приветливо улыбаясь, – и весёлые говорит слова, и приглашает зайти к нему, и ведёт в свою комнату с большим окном, толстыми стенами и высоченным потолком, напоминающую некий сказочный чертог, – настолько свое-
образна она и разительно непохожа на прочие, более обыденные и даже, к сожалению, по-советски стандартные, столичные обиталища богемных служителей Муз, – и вас окружают картины, и книги, и старые вещи, и сказки, и всякие россказни, и новости, и легенды, и тайны, –
и загораются, наверное, сами собою, в подсвечниках тёплые свечи...

Так хотелось бы говорить.

В настоящем – и только! – времени.

В настоящем. Но – не в прошедшем.

Но придётся мне говорить, как ни грустно, – в прошедшем времени.

Да, в прошедшем. Уже – ушедшем.

Грань какую-то перешедшем.

За черту шагнувшем незримую.

Чтобы – в прошлом быть. Навсегда.

Нет Сапгира на свете. Странно.

Мгла безмолвна. И тьма – безгранна.

Отрешенье – весьма туманно.

Где он? С ним ли – его звезда?

В прошедшем – за гранью – времени.

В сиянии, а не в темени.

Мы пришли с Людмилой к Сапгиру, поскольку звал он к себе. Повод был простой – пообщаться.

В общении с Генрихом столько уж лет всегда присутствовал – свет.

На то он и был – поэт.

У Генриха был в гостях Миша Ерёмин.

Замечательный, по-моему, поэт.

Стихи его я давно любил. Когда-то, ещё в шестидесятых, Леонард Данильцев принёс мне большую самиздатовскую перепечатку его вещей. Предельно лаконичные, почти всегда всего-то в восемь строк, с огромной концентрацией мысли, тайны, чувства, прозрений, парадоксов, обострённо-зоркого взгляда, отточенной фразы, изумительной ритмикой, замечательной новизной восприятия мира, казались они фрагментами некоего небывалого эпоса, находками, наподобие археологических, частиц особой, почти не соприкасающейся с другими, цивилизации, оригинальны были совершенно во всём, и это была – поэзия.

Самого же Мишу не приходилось мне видеть.

И вот – познакомились.

Оказался он замечательным человеком.

Бородатый, умный, живой, питерский – но без общепитерского какого-то налёта, по которому сразу порой узнаёшь петербуржцев, – нет, вид у него был более южный, что ли, азиатский даже, – может быть, потому, что жил он годами вдали от Питера, в Средней Азии, где переводил кого-то, а вот кого именно и что именно – уж не помню, да он и сам не вдавался в подробности, – ему было радостно услышать от меня хорошие слова о его стихах, и это было не просто внимание, но понимание, и он это сразу же понял, и разволновался, и мы как-то вдруг, сразу же, нашли с ним общий язык, и стали понимать друг друга с полуслова, и разговорились, – бородатый, невысокий, но крепкий, прихрамывавший – оттого, что когда-то, в молодости, не желая компрометировать свою даму, выпрыгнул он из окна с высокого этажа и повредил ногу, – образованный просто блестяще, остроумный, искренний во всём, деликатный, воспитанный, но и вполне богемный, свой, – Миша Ерёмин говорил со мною, и минуты шли за минутами, а нам с ним просто-напросто общаться было интересно, вот мы и разговаривали.

Генрих был рад тому, что мы наконец познакомились.

И Людмила моя тоже ощутила в Мише Ерёмине – подлинность. Чутьё на людей у неё – редчайшее. Мишу – она признала.

Генрих проявил себя, как и всегда, радушным хозяином.

На столе появились – обильная выпивка и хорошая закуска.

Мы, трое поэтов, и моя жена Людмила вместе с нами, – выпивали в охотку и с удовольствием беседовали.

День, казалось, вовсе не торопился никуда уходить.

За высокими окнами было светлым-светло.

И в комнате было светло.

И светлы были – наши речи.

И глаза наши – были светлы.

Генрих вдруг стал приглядываться ко всем нам.

И я заметил в зрачках его весёлые искорки.

Он встал. Походил по комнате. Улыбнулся нам сквозь усы. И сказал:

– Такое ощущение, что здесь три генерала на совет собрались!..

От души ведь сказал. Как думал. Повинуясь самому верному первоначальному импульсу.

Он был – прав. Как в воду глядел. Ни при чём здесь – чины любые. Или табель о рангах.

Генрих высказал по-простому, по-домашнему как-то, по-свойски, и по-дружески, разумеется, кем считает он в русской поэзии современной, новейшей, подлинной, пусть подпольной, неофициальной, но зато единственной верной и оправданной, – нас троих.

И мы с Мишей Ерёминым – поняли Генриха. Потому что была в словах его не шутка, но сущая правда.

Вот, представьте, три генерала. Пусть и так. Такие уж есть. Каждый знает – кто он таков. Знает цену – себе. Это ясно. Знает цену – ещё и другим.

Потому-то мы взяли и выпили. И добавили. А потом, поразмыслив, ещё добавили. Почему же втроём – не выпить?

И тем более, с нами была в том застолье – моя Людмила. И она-то – всё понимала.

Вот и выпили мы – за неё!

Вот и выпили мы – за поэзию.

Вот и выпили мы – за нас.

Три поэта. Три генерала. Три товарища. Свет был – с нами. День был –
с нами. И мир был – с нами. Три поэта. Сапгир. Алейников. И Ерёмин. Три генерала. После бурных былых сражений – на совет втроём собрались.

Там, в минувшем, – осталось это.

День высокий, где вдосталь света.

Три товарища. Три поэта.

Неизбежность – и благодать.

Судьбы наши – и наши речи.

Ближе к вечеру – тени, свечи.

То, что ныне – уже далече.

Вот и всё, что хотел я сказать...